

«Набережная Дмитрия Лихачёва»

Лев Толстой утверждал, что существуют три признака, которыми должен обладать настоящий и хороший писатель: во-первых, он должен высказать что-то очень ценное, непреходящее и полезное для многих людей. Во-вторых, он обязан это свое «слово» выразить правильно, то есть понятно и доступно. И в-третьих, стараться быть правдивым. Такими были, по его мнению, Достоевский и Диккенс. Я смею думать, нет, я утверждаю, что Дмитрий Сергеевич Лихачёв (забегая вперед скажу, что Дмитрий Сергеевич не раз говорил мне, что его любимый писатель со школьной скамьи был именно Чарльз Диккенс), обладал этими тремя «толстовскими» качествами в самой в полной мере.

И не столько, может быть, как ученый-исследователь (об этом могут судить специалисты), сколько как писатель и гражданин (а эти понятия, задолго до времён Радищева и Некрасова в России — почти тождественны), которому выпало в последние 15–20 лет XX века стать духовным Учителем и Наставником (его справедливо называли даже совестью и гордостью России) для великого множества своих сограждан и соотечественников по миру и для «власть имущих и предержавших».

И Лихачёву, по-толстовски, удалось честно, мудро, по совести, с олимпийским спокойствием в ы д е р ж а т ь это тяжелейшее испытание и сыграть перед миллионами телезрителей, слушателей и читателей труднейшую роль «Отца нации», наравне с А. Д. Сахаровым, Ю. М. Лотманом, Л. Н. Гумилёвым, С. П. Капицей, С. А. Аверинцевым, А. М. Панченко, А. А. Собчаком и многими другими светлыми личностями, кого новая власть призвала под свои н о в ы е знамена в лихую и славную годину переоценки ценностей.

В результате Дмитрий Сергеевич оставил после себя и добрую (о себе) память, и целую научно-просветительскую библиотеку преполнейших, правдивых и нетленных (на добрых два века вперёд) книг: о добром и прекрасном, о далёком прошлом, о древности, о будущем, о Человеке и всечеловеческом. И книгу воспоминаний.

Ибо (может быть это только для меня, Бог ведает) в тревожной личности Дмитрия Сергеевича как-то упрямо с о ч е т а л о с ь (в мягких жестах, в манере слушать и говорить, в одежде, в рукопожатье, в самой фигуре, в повороте головы, в некоей, едва уловимой стройности и не мнимой значительности) н е с о ч и т а е м о е: этическое и эстетическое. При нем многое было нельзя: говорить заочно дурно о людях, перебивать, топтаться с ноги на ногу в мыслях, фамильярничать, повышать голос, да и просто сидеть вразвалку... Точно также, как, скажем, это было совершенно невозможно вблизи того же Льва Толстого, Чехова, Блока, а в наше время — рядом с Михаилом Лозинским, П. Л. Капицей, Николаем Павловичем Анциферовым, Евгением Шварцем. Такими же «неприступными» и «неприкасаемыми» были, безусловно, и Борис Михайлович Эйхенбаум, и Николай Павлович Акимов, Ефим Григорьевич Эткинд, Елена Владимировна Юнгер...

И это не «общие слова», не надо их бояться.

Вспоминая Дмитрия Сергеевича Лихачёва или рассказывая нынче о нем тем, кто его не знал лично, не общался с ним, невольно на ум приходят самые простые не мудрёные слова: это был спокойный умный непременно добрый много знающий пожилой интеллигентный благородный человек, петербуржец, с тихим голосом и умными глазами, смотрящий прямо на Вас и Вас внимательно слушающий. И столь же непременно, вот-вот готовый прийти Вам на помощь.

Да-да! Для многих и многих из нас академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв был в первую голову человеком реально п. о м о г а ю щ и м (тоже, надо полагать, качество, пусть даже и четвёртое, но которым, согласно вышеприведённой «формуле Л. Н. Т.», не мешало бы обладать «хорошему писателю»). И нам, испытавшим на себе, на своей шкуре эту самую, на мой взгляд, главную черту характера Д. С. Лихачёва, как говорить — «легион имя».

Но для меня лично Дмитрий Сергеевич сделал в тысячу больше, чем собственно «разовая» помощь или совет умного многоопытного человека.

Посудите сами... Дмитрий Сергеевич Лихачёв просто-напросто вдруг несколько неожиданно для меня, но спокойно и легко «решил» наперед всю мою дальнейшую творческую судьбу (естественно, сам того не ведая, хорошо помню, когда я, много-много позже, осмелев, между делом, в одной из многих бесед в Пушкинском доме, так прямо и заявил ему об этом, он подивился, подобрел, попытался как-то неловко отмахнуться, всплеснул руками, даже снял очки и — перевел разговор).

В середине 1970-х годов по инициативе Дмитрия Сергеевича Лихачёва при Академии Наук СССР было основано новое оригинальное академическое издание под названием «Памятники культуры. Новые открытия». Оригинальность этого культурного начинания была в том, что в его состав, помимо традиционных (по жанру) описаний новонайденных рукописей, документов, дневников, переписки, автографов, редких портретов, Дмитрий Сергеевич включил и личные библиотеки петербургских ученых, писателей, поэтов, художников, артистов, хранящих в себе также немало человеческих тайн и личных судеб.

Первой такой библиотекой оказалось уникальная книжная коллекция, принадлежащая русскому критику и философу, страстному библиофилу, близкому другу Достоевского, Толстого, Фета, Владимира Соловьёва, — Николаю Николаевичу Страхову, которая в количестве более 10 тысяч томов поступила в 1907 году в фонд Библиотеки Санкт-Петербургского Университета, alma mater Н. Н. Страхова (ныне Научная Библиотека им. А. Горького Санкт-Петербургского государственного университета).

Дмитрий Сергеевич по справедливости предложил описать эту библиотеку Сергею Владимировичу Белову, известному достоевисту и книговеду, а Сергей Владимирович в свою взял в помощь — меня (и Дмитрий Сергеевич и мы с С. В. Беловым были на равных в числе более 150 членов «Ленинградского Общества библиофилов», где регулярно встречались на шестом этаже «Дома книги» почти под самым Стеклянным Глобусом, который и поныне царит над Невским проспектом). И действительно, почти каждый экземпляр из книжного собрания Н. Н. Страхова представлял собою большую редкость, ибо имел или автограф, или оригинальный экслибрис, рисунок, владельческую подпись, пометы и так далее. За «Библиотекой Н. Н. Страхова» пришел черед редчайших книжных собраний историка К. Н. Бестужева-Рюмина и востоковеда-индолога И. П. Минаева, также находящиеся в составе нашей горьковской научной библиотеки.

Все эти статьи были нами добротнo составлены, одобрены Д. С. Лихачёвым и Редакцией, и вскоре одна за другой благополучно напечатаны в Лихачевских «Памятниках культуры». И с той поры Дмитрий Сергеевич, что называется, «меня «заметил» особо...

В те же годы я начал пристально заниматься изучением истории «Гимназии и Реального училища имени Карла Мая». Тут и архивы, и документы, и личные воспоминания. И почти всё — внове. Это меня сильно увлекло, ибо передо мной открылся уникальный мир школьной жизни Петербурга, высокой педагогической культуры, и за всем этим жизнь и быт петербургской интеллигенции. И главное: почти за каждым именем выпускника или преподавателя «школы Мая» стояла своя особая биография и непременно преползнейшая для России творческая судьба.

Более того, получилось так, что я оказался едва ли не первым, кто проявил нормальный интерес и простое любопытство к этой необычной «Школе на Васильевском», и вообще, к истории среднего образования до 1917 года (правда, любопытство мое было не столь уж случайным: помню, сколько фантазий и легенд хранила и моя начальная школа, моя «Петершule» на Невском: сам фасад, мраморные лестницы, коридоры, и особенно Актальный Зал с вытертыми орехового дерева скамьями по периметру, старинным органом, изразцовым камином, золотом тисненными досками по стенам с выбитыми золотом незнакомыми немецкими фон-баронистыми именами

выпускников, героев Отечественной войны 1812 года. И библиотекой на 6 этаже. Всё и здесь дышало петербургской стариной и тайной).

Я повсюду с восторгом рассказывал о «Майской гимназии» и о своих новых находках, разыскивал выпускников, списки, отчёты, протоколы. И на мой призыв начали откликаться и выпускники и их потомки, свято хранившие любовь и воспоминания близких о школе. Первыми горячо меня поддержали выпускники 1917–18 гг.: писатель Лев Васильевич Успенский, ученый-химик и писатель-охотовед Алексей Алексеевич Ливеровский, авиа-конструктор Лев Львович Кербель, физик Борис Каплянский, академик-корабел Валентин Новожилов, искусствовед Сергей Гингер (Серый), Отец Борис (Георгиевич) Старк из Ярославля, биолог и философ Борис Федорович Янус, семья Наливкиных, Завадских, Семёновых-Тян-Шанских, а также зарубежные потомки бывших «майцев». Это Парланды, Небо, Китнеры и др. Начал складываться довольно интересный и малознакомый материал о Петербурге для целого очерка. И здесь самую существенную помощь мне оказал ленинградский физик и историк науки, профессор Политеха Виктор Яковлевич Френкель, сын выдающегося советского физика — теоретика (первенца т.н. «школы папаши Иоффе») Я. И. Френкеля, выпускника 1915 года.

А где печатать? И кто решится взять рискованный материал, прославлявший «старые» дореволюционные методы воспитания и обучения детей?

Тогда Виктор Яковлевич Френкель посоветовал мне обратиться за воспоминаниями напрямую к самому Дмитрию Сергеевичу Лихачёву, который (об этом знали тогда далеко не все) с 1916 по 1920 год учился в майской гимназии.

И тут мне вновь на помощь пришёл профессор Сергей Владимирович Белов. По моей просьбе он обратился к Дмитрию Сергеевичу написать для моего будущего очерка несколько страничек о «Школе К. И. Мая» и вообще своим авторитетом поддержать его публикацию. Через некоторое время я, к великому удивлению и радости, получил по почте на своё имя на свой домашний адрес большой не стандартный и явно самодельно склеенный непроницаемый (и даже, я бы сказал, непромокаемый) конверт из плотной светло-коричневой бумаги с обратным адресом, написанным толстым фломастером: Ленинград, улица Шверника и так далее...

И внизу — крестообразное факсимиле «Д. С. Лихачёв».

В конверт было вложено несколько аккуратных листков машинописи, — рассказ Д. С. Лихачева о Школе Мая.

Перечитав письмо Дмитрия Сергеевича, я был чрезвычайно взволнован и обрадован его высоким доверием. Ей-богу, уверен, что каждый на моем месте испытывал бы те же чувства. Впоследствии, когда Дмитрий Сергеевич принялся писать большую книгу воспоминаний, сей текст, да и вообще весь «майский сюжет» был им существенно изменен, дополнен, появились еще имена учеников и преподавателей, новые детали школьной жизни, но мне дороги именно эти листки и строки:

«Глубокоуважаемый Евгений Борисович... Гимназия и реальное училище К. И. Мая было интеллигентным учебным заведением — и по составу учеников и по составу преподавателей. В моем классе учился внук И. Мечникова, эстонский писатель Эйнбаум, учился Олег Петрович Римский — Корсаков, но и сын швейцара, и сын банкира, дававшего взаймы Николаю II, так называемого «Митьки» Рубинштейна. Последние двое также косвенно характеризовали «интеллигентность» нашей школы, так как один из существеннейших признаков интеллигентности — это «демократизм в обе стороны». Мы не чуждались и Рубинштейна, ни сына швейцара. Подъезжать к училищу в своих экипажах было категорически запрещено и поэтому богатые ученики, ездившие со своим кучером, останавливались за несколько кварталов от школы, выходили и шли пешком. Двери школы отворял всем ученикам почтенный швейцар в ливрее. Он отворял двери широким жестом левой руки (в правой у него была булава) и приветствовал всех по-

немецки, а провожая нас, говорил «ориведерче»! И в первом и в последующих классах преподаватели всем нам говорили «вы» и называли по фамилии. Я тоже всем товарищам по классу говорил «вы», но называл по имени. Вежливость была принята. И воспитывалась примером старших учеников... Помню, что в классе наставником у нас был учитель рисования Михаил Григорьевич Горохов. Были уроки, на которых он с нами беседовал. Он учил нас корректности. Помню, что он советовал нам обратить внимание на походку и манеры Игоря Фомина. Он был старше нас несколькими классами. Впоследствии он некоторое время был заместителем главного архитектора Ленинграда В. А. Каменского, а в последние годы профессорствовал и в Институте имени И. Е. Репина.

Сам Горохов был всегда спокоен, всегда вежлив. Никогда не возвышал голоса. Беседовал с нами о нашем поведении спокойно и с полной уважительностью, какой бы проступок мы не совершали. Даже когда в туалете появились какие-то надписи не совсем приличного свойства, он провел с нами вполне академическую беседу, которая не была ни нудной, ни раздраженной и которая по-своему у была интересна: он разъяснил нам (!!!!) психологию этого «стеномарания» и после этого надписи уже не возобновлялись.

Замечательно преподавал он рисование. Три года он вел с нами курс перспективы. С тех пор я ясно вижу ошибки в перспективе и сам могу правильно построить перспективу, если она, впрочем, не очень сложна.

Горохов ввел свой метод оценок. Мы рисовали в прекрасном классе для рисования, простроенном по проекту Горохова (он нам говорил, что сам продумывал все детали класса: в нем были доски для рисования, легко державшиеся на коленях у учеников любого роста; класс был построен амфитеатром, в фокусе которого находилось место для «натуры»). Рисунок каждого обсуждался всем классом, и оценка за рисунок ставилась сообща всем классом. Только однажды он не согласился с нашей оценкой. Это был рисунок Рубинштейна. Рубинштейн сидел на своём крайнем месте, и он видел проволоочный куб, который мы рисовали, в резком ракурсе. Нам показалось, что рисунок неправилен. Но Горохов разъяснил нам особенности точки зрения рисовальщика и поставил ему пять вместо предлагавшийся нами тройки.

Только однажды я почувствовал, что Горохов смущён и не знает, как выйти из положения. Это было тогда, когда в 1918 году наше училище соединили с женской гимназией Э. П. Шаффе. К нам вдруг стали приходить ученицы из гимназии Шаффе. Мальчики и девочки не привыкли друг к другу. Девочки шушукались, но смущались. Как мне кажется, меньше, чем мальчики. Прошло несколько месяцев, и вот один их хорошеньких мальчиков нашего класса вдруг получил записочку с чем-то вроде объяснения в любви. Была ли это первая записочка или, вернее, не первая, но она была замечена Гороховым, и он попросил ему дать. Прочёл... Я ясно помню его смущение. Он, всю жизнь преподававший в мужских классах, очевидно, еще с таким не сталкивался. Тягостная пауза. Его смущение подействовало на виновниц (записочка писалась сообща) больше всего. Потом он прочел нотацию. Её содержание я не помню, но ясно запомнилось одно: он не назвал ни имен девочек, писавших записку, ни имени мальчика, которому она предназначалась. И в этом снова и снова проявились его интеллигентная деликатность и такт воспитателя.

Дух интеллигентности вообще был свойствен учителям гимназии. Запомнился мне учитель географии, рассказывавший нам о бое быков в Испании, о путешествии по Двине и Белому морю, о поездке на Памир и Алтай. Он был очень худ и, кажется, в 1919 г. умер от туберкулеза и голода. Был замечательный преподаватель физики — Борис Иванович Умнов. Был добрый учитель природоведения. И еще помню прекрасного учителя гимнастики, также называвшего нас «на вы» и ездившего с нами на рождественские каникулы на школьную дачу в Струги-Белая (эта станция была названа так потому, что по одну сторону железной дороги была деревня Белая,

а по другую — Струги. Теперь это место называется бессмысленно: Струги Красные). Я поехал в 1917 году туда на каникулы. Германцы (тогда говорили о наших врагах «германцы», а не «немцев», чтобы не обижать василеостровских немцев) были уже где-то близко...

Был у нас и ручной труд. Мы занимались со столяром, старым, хорошим, добрым и не умеющим наладить дисциплины. Но уроки, несмотря на шум и беготню, очень мне нравились. Я увидел, что в столярном деле нужен ум. Нужны знания, и это тоже наука.

Хуже было, когда нам пришлось пилить брёвна на дрова для школы. Олег Римский-Корсаков никак не мог научиться этому делу. У меня выходило и потом пригодилось. Старик-столяр объяснял нам, как облегчить себе пилку, как держать и тянуть на себя двуручную пилу.

Вообще вот что было интересно в педагогической системе нашей школы. Учителя не делали секрета их своих педагогических приёмов. Они старались нам объяснить — почему важны зрительные впечатления (для запоминания), почему нужны театральные постановки (чтобы развить понимание текста, умение его воспроизводить вслух, развить в себе понимание жеста, походки и т. д.), для чего нужны игры (на уроках гимнастики мы главным образом делали не упражнения, а занимались подвижными играми, и учитель разъяснял нам, какие качества характера развивает та или иная игра), на уроках географии много говорилось о том, что следует путешествовать (в путешествиях люди знакомятся, учатся уважать чужие обычаи и особенности характера, надо только замечать хорошее. Нам разъясняли, что есть в новых кабинетах, как устроены «майские парты» (в них можно было повышать и понижать столик, и эта установка делалась при консультации глазного врача). Разъяснялось значение совместных экскурсий в музеи и за город. На переменах разрешалось бегать, играть в пятнашки и некоторые другие игры (в другой школе, где я перед тем учился — Человеколюбивого Общества, — на переменах ученики ходили парами, как в фойе театра).

Привыкнув к строгостям школ Человеколюбивого общества, я однажды сам себя наказал. Играя, я «завертел» учителя черчения (на скользком, натёртом полу трудно было повернуться, и поэтому мы схватывали кого-нибудь и, держась за него, быстро поворачивались). В азарте игры я не заметил, что передо мной учитель, и закрутил его. Учитель сделал мне выговор, но я ничего не слышал, что он мне говорил, и решил, что он поставил меня к стенке. А «снять» от стенки мог только тот, кто наказал, и я простоял часть следующего урока: никто не пришёл меня «снимать». Об этом случае «самонаказания» говорили на педсовете и долго смеялись надо мной в нашей семье мои братья.

Были и «отрицательные» уроки «жизни. Преподавателем русского языка и литературы у нас был Конский. Манеры у него изысканнейшие. Был он, как и все наши преподаватели, чрезвычайно вежлив, тонок в обращении и воспитан. Однажды он пришёл к нам в класс и стал говорить, что дома он замерзает, получить дров не может, так как для этого надо идти куда-то на разборку деревянного дома (в 1918 г. и 1919 г. было разобрано на дрова великое множество деревянных домиков на Васильевском острове и Петроградской стороне), а это ему трудно. Он принёс в класс какие-то бумажки и попросил в воскресенье пойти на одну из линий и зарегистрироваться — что де от Конского пришли на разборку дома. «Только зарегистрироваться!» Мальчики взяли бумаги. Вышло, что от Конского пришло много людей. Но это «только отметить» не удалось. Мальчишек не выпустили, пока они не выполнили нормы. Только тогда мы поняли: если «только зарегистрироваться», то почему не вышел он сам? Или зарегистрироваться ему не позволяло здоровье? С этого дня уважение к Конскому пропало и у многих.

Не помню, какого нашего учителя мобилизовали на копку окопов. Он делал это так рьяно, что у него открылась какая-то сердечная болезнь, и он умер. Другой мальчик свалился с барки у Тучкова моста, где он ловил рыбу (есть стало нечего) и погиб. Ещё один попал под трамвай, и ему отрезало ногу. После этого последнего случая родители и забрали меня из школы Мая. Трамваи ходили редко, были бесплатными, пассажиры висли не только на подножках с обеих сторон трамвая, но и на «колбасе» (соединительный штырь для прицепного вагона), а летом даже на открытых окнах. У Тучкова моста при съезде с моста на Кадетскую (ныне Съездовскую) линию десятки человеческих гроздей, висевших с левой стороны вагона, разбивались о трамвайный столб. Это была настоящая гильотина.

Школа Мая стала постепенно хиреть. Ученики уезжали — кто, куда в какое-нибудь более сытное место с родителями, немцы в Германию (уехала Пейц — маленькая немочка, трогательно с нами прощавшаяся), эстонцы уезжали в Эстонию (Эйнбаум в Ревель). Мечников уехал во Францию, дети владельцев дач в Финляндии уезжали в Финляндию. Класс пустел на глазах. Уезжали и преподаватели. Конский (которого мы называли «Конский хвост») уехал в Польшу. И мне уже не жалко было школы. Я перешел в «Лентовку» и вскоре нашел там друзей среди одноклассников и совсем другой дух, но тоже очень хороший и интересный.

Петроградские школы, как и люди, обладали индивидуальностью своими традициями, своими обычаями. Мы были «майскими жуками», и до сих пор мне приятно узнать, что кто-то из моих знакомых учился у Мая. Долго еще мне казалось, что я мог бы в толпе узнать учившегося у Мая — по манере держаться, даже по походке. Так узнают бывших институток.

С уважением — Дмитрий Лихачев

Вскоре состоялась и наша новая встреча в Пушкинском Доме. Я поблагодарил Дмитрия Сергеевича за конверт. Дмитрий Сергеевич меня выслушал, дал разрешение на публикацию письма, ответил на мои вопросы о школе, кое-что подправил, немного добавил «что вспомнилось» на «майскую тему» (о школьном альбоме 13-года, о Рерихе, Лермонтове, учителе литературе Василии Кораблеве). Затем, оставив свои дела, в целые полчаса провёл со мной настоящую доверительно-наставительную «академическую» беседу об источниковедении и архивном поиске, сколько во всем этом таится «тайн», курьезов и настоящих открытий...

Прощаясь, Дмитрий Сергеевич предложил мне приходить почаще, делиться успехами, и иногда, позванивать, не забывать. А совсем уж напоследок сказал, что делать такие конверты он научился в школе на тех самых уроках труда.

Что же касается очерка, то он был мною деловито составлен и отдан в журнал «Аврора», где пролежал под сукном аж 7 лет (аргумент дурацкий: никакая гимназия не может быть лучше советской школы). И вышел в урезанном виде (включая и опубликованное выше письмо Д. С. Лихачёва ко мне) только в самом конце 1985 года (№ 11) на самом старте «перестройки».

Вот так!

Я продолжал свои старательские опыты, что-то писал, сомневался, годы и годы корпел над рукописями, просиживал в Публичке и в разных архивах, кое-что публиковал, делал небольшие открытия, писал телесценарии, не оставляя успешно заниматься историей майской гимназии. И всем этим постоянно делился с Дмитрием Сергеевичем. Он же, в свою очередь, давал мне разные книжные поручения, советы, рекомендации (Д. С. вообще-то любил, чтобы его беспокоили, был человеком отзывчивым и сам «беспокоился», когда узнавал, что кто-то из его коллег или совсем со стороны, из робости или излишней щепетильности, так и не решался позвонить или встретиться...).

Помню, как поздней осенью, на отдыхе, в Петрозаводске, мне в тамошнем краеведческом музее показали несколько сохранившихся в фонде номеров редчайшего журнала «СЛОН» (Соловецкий лагерь особого назначения) за 1927–28 гг. И хотя я уже знал немного «соловецкую биографию» молодого Дмитрия Сергеевича (частично и от него самого), удивление моим было обнаружение в «СЛОНЕ» очерка-статьи Дмитрия Сергеевича о воровском языке (теперь этот текст и источник — общеизвестны, неоднократно перепечатаны и прокомментированы самим автором). Тогда же мне показалось, что это очень важно для Дмитрия Сергеевича. Я сделал копию всего журнала и отдельно — его статьи. И дождавшись 28 ноября, в день рождения Дмитрия Сергеевича, раненько поутру отправился на улицу Шверника к дому Д. С. и «тайно» положил конверт с этими листочками в его почтовый ящик. Вскоре ответ — открытка Д. С. с благодарственный текстом, а через пару недель его звонок домой с просьбой (для своих заметок) пошукать в архивах каких-либо сведений о некоторых пропавших именах и людях, с которыми он встречался на Соловках. Сначала это был некий Дегтярёв, потом Эйхвальд, поэт Казарновский, Дмитрий Григорьевич Янчевецкий, старший брат писателя Василия Яна, соратник Николая Рериха, погибший на Беломор-Балтийском Канале в 1934...

В 1986 году Дмитрий Сергеевич л и ч н о (чуть ли не за руку) пригласил меня (тогда рабочего телевизионной сцены 6-го, самого высокого, надо сказать, разряда) на работу (прямо в штат) Ленинградского отделения Советского Фонда культуры, где я смог полностью и успешно реализовать свои скромные литературные способности и общественный темперамент особенно (благодаря поддержке и личному участию Д. С. Лихачёва, Н. А. Толстого, С. М. Слонимского, В. А. Адмони, С. В. Белова, М. Н. Адамова и многих других замечательных людей нашего города) как автор и ведущий литературно-мемуарной программы Фонда Культуры — «Былое и думы» (существующей и поныне).

Как-то, в одном из своих многочисленных интервью, Дмитрий Сергеевич на вопрос о том, какое качество человека кажется ему самым неприемлемым, ответил, что он совершенно не приемлет человеческой беспамятности и неблагодарности и не признает нормальным те качества в человеке, которые позволяют ему высокомерно забывать своих учителей или коллег, однажды пришедшим им на помощь, сколь ничтожно мала или велика ни была бы эта помощь.

Почему-то эта достаточно простая и даже банальная мысль сильно врезалась мне в память, ибо в самом тоне и в том к а к она была произнесена Дмитрием Сергеевичем (он как бы обращал эти слова и к самому себе), я услышал з а в е т.

И п р и з в а н и е...

И хотя я прекрасно понимаю, что существует такая категория меж людских отношений, как «дистанция», и что между мной и Дмитрием Сергеевичем эта дистанция достаточно велика (да и иной она и не могла быть) я просто-напросто сознаю свой долг, право и даже прямую обязанность — рассказать об академике Д. С. Лихачёве.

И не фамильярно, а таким, каким я его знал, чем конкретно обязан, чего благодаря ему реально достиг «в большом и малом» (это выражение самого Д. С. Лихачёва в одном из его писем ко мне). Пусть другие думают иначе, известно, что далеко не все и при жизни Дмитрия Сергеевича (да и сейчас) ставили и ставят его (с гордостью) так же высоко, как я, не всем он видится искренним и бескорыстным. Пусть так! Но, как говорить «стакан мой мал, но я пью из своего стакана...».

Тут мне вспоминается один разговор с поэтессой, узницей ГУЛАГа Идой М. Наппельбаум у неё в квартире на бывшей Троицкой улице в знаменитом доме, который в литературной карте города называется «слеза социализма». Мы говорили о Гумилёве, Мандельштаме, Сологубе, Зощенко, Ахматовой, Кузмине и о многих других людях, которых она знала в начале 20-х. И согласилась на мою просьбу поделиться своими воспоминаниями на одном из вечеров «Былого и дум».

Она сказала тогда, что главное сейчас в ее творческой жизни успеть о т д а т ь д о л г и этим людям.

Вот этой заповедью и проникнута сама идея этой книги.

Она возникла не сегодня. И не только в связи с нынешним вековым юбилеем Дмитрия Сергеевича.

Что же касается названия этого очерка «Набережная Дмитрия Лихачёва», то это не просто этакая родная онегинская метафора, не просто «встречная прогулка» с академиком.

Набережная не может быть без реки, река — без движения, движение — вне времени, а наше время, наш тревожный век — это соловецкий, блокадный, и торжествующий век Ученого и Гражданина Дмитрия Лихачёва. Он проплывает неторопливым «крейсерским ходом», бережно сопровождает нас и, подобно старому и опытному лоцману, показывает путь-дорогу к духовному совершенству и памяти.

Есть и реальная бытовая основа для взятого нами названия.

В 1989 году Ленинградский Фонд культуры командировал меня аж на целую неделю в Хельсинки (шутка ли, в первый раз за границу) в тамошний Александровский университет для работы в знаменитейшую на весь русский зарубежный мир — библиотеку «Slavica». Тема была мной заявлена уникальная, я бы даже сказал «славная»: подготовить материалы и издать словарь «Русские писатели в Финляндии — Финские писатели в Петербурге».

Дмитрий Сергеевич немедленно ее поддержал. И я поехал. Вернувшись «на коне», я пришел к нему в Пушкинский Дом с рассказом... Дело в том, что одним из новых персонажей будущего «Словаря» оказался выдающийся финский академик-лингвист Валентин Рэнеевич Кипарский, петербуржец по рождению (кстати, родственник того самого И.Ефрона, автора-издателя и идейного руководителя и финансиста знаменитого «Энциклопедического Словаря...») и по высшему образованию. И как мне поведали коллеги-финны, Дмитрий Сергеевич его знал лично и даже был в переписке. Поговорили об этом, потом Дмитрий Сергеевич спросил, какое впечатление произвела на меня поездка. Вообще! И что удивило особо. Я ответил: могила предков жены Достоевского, Анны Григорьевны, в Турку и паром «Анна Каренина»!!! «Ну, с Достоевским ясно, — сказал Дмитрий Сергеевич, — об этом хорошо пишет Сергей Владимирович Белов, идите к нему, вы ведь его знаете... А вот почему «паром»?!» — «Да потому, — весело отвечал я, — что ни в одном из огромнейших холлов и гостиных на пароме не было ни одного, даже заваленного портретика Льва Толстого, ни картинка Анны Карениной. Я даже ходил к капитану с этим вопросом, и — ничего, обидно, ей-богу... Только тихая улыбка и сожаление. Представьте, Дмитрий Сергеевич, вот идет большой пароход «Дмитрий Лихачёв» и на нем масса людей, и никтошеньки не знает, кто вы такой...» Тут Дмитрий Сергеевич посмотрел на меня внимательно и сказал: «Скорее... набережная...».

После смерти Д. С. Лихачёва, я несколько раз спрашивал Людмилу Дмитриевну Лихачёву, дочь академика: какое место в городе было бы более подходящим и естественным для присвоения имени Д. С. (тем более что об этом заговорили на все лады сразу же после его «ухода»), почему-то мне было это важно. И не только в смысле топонимическом.

«Скорее набережная» — был ее ответ.

А недавно, один из моих друзей-физиков, узнав, что я намерен своей книге предпослать название «Набережная Дмитрия Лихачёва», написал мне следующее: «Петербург — город, где мечтатели — не редкость. Вот и мне предвиделась такая картина. Исторические Набережные Петербурга в один прекрасный день решили подвинуться, поджаться и освободить место для Набережной академика Лихачева, великого сына великого города. А наша любимая городская Власть разрешила, а некая Речная Власть повелела всем судам, проходящим *траверз* набережной академика Лихачева в его честь подавать звуковой сигнал — сиреной или судовым колоколом. Делать это в день рождения

Дмитрия Сергеевича, 28 ноября каждого года. Мне представилось, как капитаны делают соответствующие записи в судовых (бортовых?) журналах, (усатые!) боцмана отдают приказание дежурным матросам, а те потом рассказывают об этом, может быть, даже своим детям.... И в день рождения Дмитрия Сергеевича к традиционным петербургским звукам — бабаханью Петропавловской пушки, перезвону тех же курантов, крикам чаек и плеску невской волны — прибавятся звуковые сигналы в его честь. К счастью, день рождения Дмитрия Сергеевича приходится на судоходное время года...»

В начале осени 1993 года я готовил очередной вечер «Былого и дум», посвященный моему родному дому на набережной реки Мойки, 42 и домов (что по этой же стороне), аж до самого Волынского переулка. Там что ни дом — история: Демутов трактир, служебный вход Театра Эстрады, задворки Шахматного Клуба, 208-я Школа.... Это было началом нового цикла вечеров под названием «Дом и улица нашего детства». Начал, как обычно, скликать ученый топонимический народ и старожилов для выступлений. И конечно, пришел за советом к Дмитрию Сергеевичу. Он коротко посоветовал мне поискать домочадцев старого дома в Волынском переулке (ближе к улице Желябова), где в коммуналке проживал, долгие годы профессор и пушкинодомовец Николай Кирьякович Пиксанов и куда Дмитрий Сергеевич приходил к нему после войны...

Но дело не в этом. Помню, он вдруг как-то посветлел и сказал, что вот ведь и ваша Мойка, и Волынский переулок и Конюшенная площадь невероятным образом сохранили свои первоначальные названия. И добавил: Стремянная, Свечной, Кузнечный. И вдруг поделился со мной одной идеей, точнее сказать, мечтой: переиздать факсимильно суворинский Справочный том «Весь Петербург» за 1917 год. Вот был бы нам всем подарок к юбилею города. И показал мне несколько писем от горожан с этой просьбой...

Совсем недавно, к вековому юбилею Дмитрия Сергеевича Лихачёва, я предпринял такую попытку: исполнить мечту академика (только вместо «1917» проставил «1907»): нашел издательство (Большого университета), просчитали смету, прикинули тираж, сделали несколько пробных оттисков на сканере... Дело осталось за малым: рынок. И это «малое» оказалось главным — прибыли, как говорили, в нашей коммуналке «ноль с палочкой». Вот и весь сказ. А то вот был бы подарок к юбилею Дмитрия Сергеевича.